

ПИСЬМО А.И.ЦВЕТАЕВОЙ К Е.Я.ЭФРОН

Письмо это было написано в заключении 12 ноября 1943 года*. Из «Воспоминаний» А.И. Цветаевой известно, что именно в 1943 году она узнала о гибели сестры.

Почти два года, щадя ее душевные силы, подорванные непомерными тяготами допросов, тюрем и этапов, от нее скрывали страшную весть.

И только в письме от 20 июля 1943 года ее единокровная сестра Валерия Ивановна Цветаева среди малозначительных сообщений мимоходом упомянула: «Муси, автора "Волшебного фонаря", нет в живых».

Истории узнавания обстоятельств гибели Марины Цветаевой посвящена последняя глава «Воспоминаний» ее сестры, но она написана почти через 20 лет после изложенных в ней событий. Письмо же, написанное в 1943 году, пронзает нас непосредственной живой болью утраты.

Публикуемое письмо было найдено мною – «названной дочерью» Елизаветы Яковлевны Эфрон – в одной из многочисленных книг, доставшихся мне в наследство от нее.

Р.Б.Вальбе

12.XI [1943]

[Ст. Известковая, Дальневосточный край]

Дорогая Лиля¹. Я отослала Вам и Зине² ответ на ваше общее письмо. Послала (5-го) перевод на Ваше имя Муру³, 300 р<ублей>. Если не будет перемен в моей жизни⁴, т<о> е<сть> я не буду собираться уезжать, то вышлю рублей 200 Вам, затащить хоть мал<енькую> дыру в дне.

Учится Мур, работает, где живет⁵, как здоровье его? 1.X. я отослала ему письмо, за неделю до получения его письма. На его письмо ответила 3 открытками и поздравительной, по поводу его учения, телеграммой. Получено ли это все? Я неделю назад отослала также письмо Сад<овско>му⁶, и 2-ое вслед, на случай, если бы 1-ое затерялось.

Я жду ваших ответов, всех вас, надеюсь, м<ожет> б<ыть>, наконец, получить ответы (на те вопросы), которые вы знаете, не можете не знать. Мое упорство повторять их разбивается о беспорядочную стихийность и вялость ваших писем. Как будто – при любой обстановке – нельзя, садясь писать (жертвуя этому на 5 м<инут> больше времени), открыть мое письмо на том

* А.И.Цветаева не указала год, но установить его легко: на первой странице сказано: «через 10 мес<яцев> мне будет уже 50» (родилась А.И.Цветаева 14/26 сентября 1894 г.).

месте, где я - в 15? в 20? раз эти вопросы повторяю, моля ответить на них, для Вашего удобства нумеруя их - что еще я могу сделать? В письме Вам и Зине, последнем, я заново повторила их все. Не пишите, Лиля, оптом: «я мало знаю, некого спросить» и пр<очее>. А перечтите вопросы и ответьте на те из них, на которые Вы ответ знаете: если из 10 вопросов Вы ответите хотя бы на 5 - мне будет уже легче. Почему Вы не хотите сделать это?⁷ Ведь Вы же шли, при мне, больная, к телефону - м<ного> р<аз>. Вообразите, что я Вам звоню по телефону. Перед оупением моей муки без Марины (если Вы этой муке сочувствуете) - дайте себе труд вынуть мое письмо и набросать на открытке краткие ответы на те мои вопросы, на к<ото>рые Вы ответить можете. И - повторите открытку, вдогонку. Вот все, что я - месяцы молю, месяцы жду.

Главный вопрос - как М<арина> ушла из жизни, что она сделала с собой и умерла ли она одна или хозяйка⁸ ее застала еще живой? - Что это был, яд? Морфий? Чем - я думаю, думаю. День, когда я увижу С<ережу>⁹, когда я смогу узнать хоть то, что было с М<ариной> до дня их разлуки, - будет большим днем помощи. М<ожет> б<ыть>, к тому времени я очень уже состарюсь и буду гораздо меньше похожа на благородный образ тогда еще 46-летней Марины (через 10 мес<яцев> мне будет уже 50¹⁰), и ему будет легче видеть меня. По описанию Вашего дня вряд ли моим этим письмам есть место в нем [исправлено на: ваш<ем> дне]. Слишком тяжелая артиллерия, понимаю отлично. Но Вы так похожи на С<ережу>¹¹ - как мы с М<ариной> - и я пишу в Вас - ему. М<ожет> б<ыть>, и я умру до свидания с ним, м<ожет> б<ыть>, этот листок достанется ему. Кто знает. Вчера, ложась спать, я все вспоминала лицо М<арины>, когда она торопилась или сердилась, звала кого-ниб<удь>, нетерпеливо, оспаривала что-ниб<удь>, требовала, чтобы сделали по ее. Я всегда чувствовала напряжение той муки, к<ото>рая двигала ею в эти минуты. В те минуты, когда уже ни сострадание к другому, ни юмор, ни взлет надо днем не мог ее отвлечь от того комка внутри, того узла, в которые стягивалось все в ней. Ей было нестерпимо, с самого детства, так много всего в дне, что это ее отличало от всех. Что ж это было? Названия я не знаю, но именно это, д<олжно> б<ыть>, ее привело к концу. Затянулось. Это называла хозяйка «ненормальностью» (кому, Лиля, она называла это слово? Георгию? И как же реагировал он на эти слова, - соглашаясь? нет? когда передавал Вам эти ее слова?) Мы эти минуты, эти выражения лица у М<арины> видели - извне (я, более других, изнутри, - потому я была всего тише к ней в эти минуты, редко противоречила ей, жалела. За это,

м<ожет> б<ыть>, она звала меня – кроткой?) Но она, изнутри, м<ожет> б<ыть>, предчувствовала, что когда-ниб<удь> эти ее состояния не дадут ей больше дышать? И – сердцем, глухо, м<ожет> б<ыть>, и я это знала, т<о> е<сть> не она и не я, а тот надрыв, к<ото>рый был между нас, м<ожет> б<ыть>, знал, что нам будет разлука? Иначе отчего мы так бесконечно жалели др<уг> друга? Так все чего, всю жизнь, недоговаривая. Но разумом – не знали. Иначе бы обе сломали несмотря на всю противоестественность

этого – свой панцырь. Уезжая в 22<ом>¹², она писала об оставляемых, Сереже (черновик или обрывок письма был брошен в ее письмах, тетрадях): «Отъезд – это как ни кинь – смерть». За 19 лет до своей смерти она, значит, со мной простилась, уже. Без конца возвращалась (я уезжала тогда, немного ранее ее – в Звенигород, с Андр<юшей>¹³) – принося то кольцо со своей руки, любимое, то – шушун (подарок Пра¹⁴), то бархатн<ую> куртку, то еще ч<то>-<ни>б<удь>. Мне кажется, что в последний раз в Москве почему-то так вышло (примус – или телеф<он> или еще что-то), что мы простились наверху, на площ<адке> м<оей> кв<артир>ы, что я не дошла с нею вниз – а что слушала, переговариваясь с ней сверху, ее шаги, и к<а>к хлопнула дверь. Моя мечта, м<ожет> б<ыть>, тотчас мне перебивает память, я вижу себя наоборот сходящей с ней вниз, выходящей в весенн<ий> Мерзл<яковский> пер<еулок>¹⁵, глядящей ей вслед. Если это не так было – я себе готова грызть руки, что я не урвала у жизни эти 4 этажа с ней. Но жизнь дала больше – через 5¹/₂ лет она мне подарила утро свидания¹⁶, Марину, ведущую мне навстречу к двери (увидав нас с С<ережей> в окно) 2¹/₂ летнего Мура, и 20 дней вместе. Я тогда, рассчитывая на долгую бесконечную жизнь вместе, отказалась из дома Ал<ексея> Мак<симовича> ехать с ней (письма) на океан. Писала, что должна быть с ним – «"разгар дружбы". Ты же меня поймешь!» Но до этого (43) года я не могла понять, как я могла уехать от А<лексея> М<аксимовича> в тот неап<ольский> день¹⁷, когда он просил меня остаться на 1 день, вместе встретить закат со знамен<итой> горы и вместе вернуться в Сорренто при луне – я не согласилась. Вспоминая это, я годы (до этого года) стояла перед собой, к<а>к перед истуканом. Как я могла отказать ему в этой просьбе, старику, гордецу, человеку так любимому мной? И только теперь это мое твердое решение ехать к М<арине> именно в этот день, не откладывая, во мне горит теплом, как какой-то детский праздник, – я М<арину> видела ровно 1 сутки в полном порядке их очага, в радости встречи со мной: на др<угой> день Мур заболел скарлатиной, и болезнь, отложив океан, продлилась до

дня моего отъезда назад к А<лексею> М<аксимовичу>. Я благодарна своему сердцу, к<ото>рое что-то знало, к<ото>рое, летя навстречу М<арине>, тосковало по А<лексею> М<аксимовичу>, с которым поразительно простились на вокзале, миг неповторившийся потом – и я писала ему в поезде тоже невозвратное, п<отому> ч<то> потерялось в пути, письмо (и получил ли он его когда-ниб<удь>, я не знаю – п<отому> ч<то> через месяц, уезжая от него совсем, я дала ему случайно в то утро у меня в портмонэ найденную квитанцию на это письмо). Но пусто, пусто – теперь, когда их обоих нет уже, – пусть этот мне день у М<арины> стоил мне слома отношений с тем (обида моего отказа провести вместе вечер в компании сам<ых> близких друзей он, м<ожет> б<ыть>, не простил?) – я теперь прощаю себе это, то чего не могла простить все эти годы – и готова бы заплатить еще более дорогой ценой.

М<арине> и мне казалось, что тема нашей тоски в жизни, в которую включалось и отношение др<уг> к другу, – вечная смена вин др<уг> перед др<угом>, ссоры, недоговоренные хорошие (или сказанные другие слова) было то, что мы все когда-ниб<удь> умрем, что все проходит, что жизнь есть сплошное расставание. Это – во всех разновидностях и во всех выражениях (музыка, стихи, судьбы в книгах, разлука с друзьями, безвременная смерть людей, бесплодное рассказание и память) само по себе могло разорвать душу. И разрывало. Но смерть одной из нас – не приходила в наше сознание. П<отому> ч<то> это было бы совершенно чудовищно. И вот эта чудовищность случилась. С Мариной – перед днем решения и в день смерти, со мною – она происходит теперь.

М<арина> так нежна была к каждому из м<оих> друзей (с самой юности, к обоим моим мужьям¹⁸) и ко всякому, кто скрашивал мою жизнь. (Последний из этих людей был, д<олжно> б<ыть>, Ал<ексей> М<аксимович>, она написала ему за меня благодарящее его письмо.) Если, умирая, она была хоть сколько-нибудь в состоянии вспомнить меня, она нанесла мне этот удар своею рукою – только п<отому>, ч<то> себе наносила – последний. У себя она отнимала – все. У меня отнимала – себя. Оставляя мне – мир? В утешение? Нет, утешить меня в ее отсутствии и в том, что она пережила, уходя, – мир не может. (Я это вижу, проверяю. Глаз отмечает краски дня: янтарь на снегу, лимонность над лиловой сопкой, молочность снегов под луной, но сердце молчит, не просыпаюсь, не тянусь, не радуюсь.) Но, м<ожет> б<ыть>, надо пожалеть мир, что он остался без нее, что внимание и любовь М<арины> к миру неповторимы? Я шла вчера с горы, скрип валенок по морозн<ому> снегу и провал под горой – огни поселка, мгла и

луна, та самая луна, о к<ото>рой М<арина> в детстве читала, в 1. раз, у Пушкина «сквозь волнистые туманы» «льет волшебный свет она»¹⁹. Я вижу, вспоминаю, что это какой-то детский крещенский сказочный вечер, что какой-то художник сейчас должен бы взять кисть. Но не я. Мне нечем сейчас выразить то, что я вижу. Надо писать не только талантом, а у меня и талант сейчас молчит. Синева вечернего неба, ослепительный фонарь, дым труб, стук летящего поезда (изнутри его или вне его), жизнь. Какие-то будущие города, куда вечно рвались при этих звуках и красках. Да, они есть. Но я их уже не зову, п<отому> ч<то> мне без Марины каждый город и каждый ландшафт – все то же кладбище. Я их вспоминаю еще, но это уже прощанье. Я никогда не думала, что я смогу не звать – это. Но ведь это не измена миру, это – верность Марине. Где ты Кай, там и я, Кайя²⁰. Я знаю, что ни одна жена и ни один муж не переживали так смерть друг друга, – пусть они, молодые, даже [бурней]. Я – старая кляча. Но так – не мучались. Ведь они не вышли на свет из той же материнской утробы, они не были неразлучны все детство и всю юность. Их лица не были отпечатками той же какой-то печати, чуть сдвинутыми (шире и уже, глаза чуть темней, чуть светлей), они не шли одним шагом под гору, их голоса не путали родные. Потому я не ищу, не найду утешения ни в каких Шницлерах²¹, Карин Михаэлис²², ни в Гамсуне²³, ни в Толстом, нигде в книгах. Я не хотела бы тронуть даже Гонкуров²⁴, из уважения к горю брата, ставшего на могиле брата – седым²⁵. Но я знаю, что я и там не найду равного нашего с М<ариной> сходства.

Книги для меня сейчас – другое. Я, главу за главой, лежа, вечером, после работы среди густого быта женск<ого> общежития, читаю по-англ<ийски> Маугли Киплинга – книгу по-нем<ецки>, в 1904–<190>5 гг. подаренную мамой Марусе, которую Маруся любила с непередаваемой тоской и нежностью, так как только она умела любить книги – пантеру и медведя, семью волков²⁶ она любила, м<ожет> б<ыть>, даже больше, чем жив<ых> людей – как героев легенды о Лихт<енштей>не²⁷. Эти книги мне почти святы. Я иду за М<ариной> строка за строкой в 49 лет за ее 13-летним чтеньем, и мне кажется, что я ближе к ней. Я почти никогда не прошу ничего себе у людей, но я попрошу эту книгу. Если я буду жить, я достану Жан Поль²⁸ – его любила Марина (и еще мама любила тоже) и переведу хотя бы 1 том его избранных мест. Я вспомнила сейчас, что Карлейль²⁹, его переводчик на англ<ийский>, пришел мне впервые в руки от М<арины>: провидя, что я его переведу (образцы) в 34-м, (заслужив имя 1-го его истинного переводчика от 3х специалистов). М<арина> мне летом 21

г<ода> принесла по-русски Sartor Resartus, его 1. книгу, изд<анную> в 1837, в год смерти Пушкина. Эту книгу я переведу неприменно. Буду жить, если даже не смогу ничем помочь жизни наших детей, – чтобы перевести эту книгу. В эти бесплотные встречи мои с М<ариной> Вы бы могли внести свет и тепло: ее фотографию. Ее строки. Любые. Но вот уже 2^{1/2} мес<яца> – ничего.

Я даже ни в одной книге не читала о такой чудовищной обманутости. Пусть это была болезнь моя так верить в то, что М<арина> и я будем вместе и будем очень долго жить. Я годы думала о старости с ней – какая это будет веселая, молодая, стойкая, наша старость. Я не могу признать высшим – вот это – простую, трезвую как у всех разлученность нашего единственного единства. Нас было две – и у нас было две тени, и я годы радовалась, глядя на свою – ее тень. Я брошена, как собака – (как человек [зачеркнуто 1 слово]) я одна треплюсь между людей со своей тенью, Маринину срезало. А она, сама, уложила себя под землю, оставив меня ходить по этой земле. Я могу жить, как человек – только тупея: в суете дня, работы, быта, ухода за кем-то – чтобы бегать, потеть, уставать, торопиться, чтобы не давать себе опомниться – в полузабытьи. Тогда, через пору усталости я полузабываю о сущности слова Марина, как забываю свое имя, откликаясь на Ивановна, на Анаст<асия> Ив<ановна>, на «тётя» и «бабушка». Но 1. миг моего сознания валится на меня, как лавина, и будь у меня своя отдельная комната, я бы ревела в ней до слабости, до одурения. – Эти письма – Вам, Лиля, Але³⁰ – м<ожет> б<ыть>, мое врем<енное> спасение. В них я как бы с ней, и в то же время перо и мысль, и жажда верно себя выразить ведут меня еще по как<ому>-то осмысленному пути.

Я была живой человек – я была несколько их, живых. Сейчас я совсем холодная, жесткая, тупая. Лучшее состояние, к<ото>рое может испытывать человек на земле живущий – (редкое у меня тут вволю) – приводит меня к более светлым, очищающим слезам – но как от тяжелого взлета я опадаю потом, как тесто покрываюсь корой, тупею, живу точно с мешком песка на голове. Год назад – на малоприятной работе (сейчас я на оч<ень> хорошей) я выходила, на закате, из общежития, где были неприятные женщины, на крыльцо и, ежась от мороза, смотрела на 1. звезду, на желтую мглу под полувечерним куполом неба. Я думала о будущем, о том, как я все – и этот вечер – донесу до М<арины>, выложу все, вытряхну к ее ногам – и легко пойду жить дальше. Она умерла, зная меня только 33-летнюю, а мне было 47, когда она уходила. Если мне суждено жить еще долго – она ушла, бросив меня на половине

моего пути. Какое у меня может быть будущее? Чужое. Родное уже не будет, п<отому> ч<то> я ей его никогда не расскажу, не покажу. Я – беспризорна, без Марины. (И, м<ожет> б<ыть>, от этой беспризорности, которую она ощущала вдали от С<ережи>, меня, разъединенная с нами войной, она и погибла?) Я жду ответа Георгия о ее последнем разговоре с ним.

Если б жить, иметь силу так жить, как в идеале надо мне, без М<арины>, – м<ожет> б<ыть>, было бы много легче. Но я слаба, воплощена, недостойна, я дрожу как осиновый лист, когда стою под ледяным мерцающим звездным небом, куда шагнула Марина. Вместо того, чтобы стать неуязвимой к мелочам дня, быту, мещанству ссор и дразг, и глубже, чем прежде, чувствовать горе людей и сострадание – я, наоборот, стала неуязвима к чужому горю, черствее – а в дразги ввязываюсь, по-женски огрызаюсь, подаю реплики, а потом полна презрения к себе. Я не чувствую любви к людям, вот что. Я устала от них, и то, что я порой считала приобретенным терпением, – может быть, просто равнодушие (иногда), иногда – уродливость отвратительная, выработанная годами психич<еская> слабость, в соприкосновении со множеством чужих женских волей.

Мозгом и волевым сознанием я знаю, что я кругом неправа, что при силе моего горя, не вырывающегося на людях наружу, я, в моем дне, ничтожна; что, сожми я себя всю, умей я всегда молчать, не откликаюсь на тревоги дня, на мелочи, – я бы, все глубже уходя в себя, все более бы срасталась со своим горем, и, м<ожет> б<ыть>, мне – даже наверное, было бы дано во сне видеть Марину и говорить с ней, готовить себе мост к смерти. И тут опять меня берет отчаяние, что мы, м<ожет> б<ыть>, и во сне разъединены, я не знаю, как называется ее смерть на языке Ответственности, и не знаю, что делать, чтобы понять, я не знаю, служат ли причины оправданием, и не знаю причин. Мысль о том, что даже если я буду жить вполне доблестно и расти, я буду расти не в ее сторону, не к сближению с ней, – меня ввергает в полный хаос незнания и бессилия. Я далека от моих друзей, от того, кто бы помог мне (я знаю) понять и стать на ноги для верного шага в дне (я так привыкла слушаться укоряюще-ободряющего голоса). Сломать столько дурного, своевольного, недостойного мне была подана рука помощи еще в мои молодые годы – а теперь, под старость, я одна среди людей, которым я кажусь только чудачкой и которые не могут помочь мне. Став гораздо тише, спокойнее, выносливей, я, м<ожет> б<ыть>, не оттого стала такой, что росла, а оттого, что угасала? Возьмите хоть один пример: место, где я живу – на горе, очень красивый вид

во все стороны. На эти горы я глядела, еще надеясь увидать Марину, получить опровержение брошенных о ее смерти слов в письме от невидевшего ее человека³¹. Но эти же горы были вокруг меня в день роковой телеграммы о ее гибели. Казалось, я бы должна ненавидеть место, где прозвучала мне ее смерть? Я не ненавижу его – наоборот, буду вспоминать его с какой-то тяжелой любовью. Отчего это? Оттого ли, что я слаба и что красота местности и привычка к ней берут во мне верх над пережитым здесь? Но отчего же мне не хочется взять краски, отчего я не наслаждаюсь, как прежде, закатами и восходами солнца? М<ожет> б<ыть>, я не оттого не ненавижу место, где я узнала о смерти М<арины>, что оно связано у меня со временем, когда я ждала вести о ее жизни (когда я ходила по холмам, только улыбаясь траве, шепча ей, как другу, что скоро придет опровержение нелепого слуха, скоро снова мы будем жить полным дыханьем, природа и я, скоро я докажу людям, что этот слух нелепость, что М<арина> жива – и с нею все живо?) Я не могу разобраться в себе. Роковая привычка все анализировать (о которой М<арина> в 21 г<од>у, когда я бедствовала, болела, нуждалась и боялась, что заболеваю психически, говорила: «Ася никогда не сойдет с ума – она будет анализировать свое состояние, и это спасет ее») теперь обессиливает меня. И меня мучает еще то, что я не могу понять, как М<арина> не захотела, не искусилась мне дать знать о себе в те 2 года, что она была в Москве, когда я этого не знала? Хоть мало и отрывочно, но все же Вы, Зина, Мур пишете – и никто не написал ни одного слова ее обо мне – точно меня для нее не было. Помочь во всем этом, что касается ее при жизни, мне мог бы Сережа, которого я люблю как брата, который мне нужен сейчас вне слов, но когда я увижу его, я не знаю, и моя невозможность помочь ему сейчас ни душевно, ни материально меня гнетет. Материально я бы могла хоть немного ему помогать, прирабатывая. Где он был до войны? [Зачеркнуто 1,3 строки.] М<ожет> б<ыть>, мне удастся (если я не уеду) быть денежно немного полезной вам. Я чувствую вас такими близкими, я сердцем все время с вами.

Откликнитесь – я столько надежд возложила на ваш ответ. И непременно напишите о своем материальном, о том, помогут ли вам хоть немного время от времени присылки – рублей в 200? Или это такая капля, которую стыдно послать? Как живет Мур, у Вас ли он, учится или работает? Что в его здоровье плохо – ведь при полноте бывает больное сердце. Жду Ваших слов о нем, об Але, живого рассказа о Марине – все, все, каждую мелочь. И – помнила ли она меня, ждала ли нашей встречи? Я жду ее Поэму Воздуха и Горы и рассказ о том, что

она писала, что переводила. Я нужна ее детям? От Андр<ея> я д<о> с<их> п<ор> не имею ни слова – 2 его длинных письма ко мне, о к<оторы>х он писал Вам, не дошли. Его строка мне могла бы быть поворотной в моей жизни.

Доживу ли я до дня, когда получу М<аринину> фотографию? Молю судьбу сберечь вас для меня, о здоровье вам.

АЦ

Простите за дурной почерк. Обвела самое плохо написанное. Спешу.

[На полях 1 стр.] Если мне разрешат ехать – а это может случиться – скоро – я не знаю, ехать ли мне в Арх<ангель>ск (7 к<м> от него, в деревне, адрес.) Как адрес Веры в Уржуме? И где Урж<ум>?

[На полях 3 стр.] М<ожет> б<ыть>, Андрей взят в армию? Как узнать?

Я боюсь ехать куда-ниб<удь> помимо под Арх<ангель>ск, п<отому> ч<то> если я не туда поеду – то опять надолго не свижусь с А<ндреем>. Его молчание меня пугает. Болит сердце, немеют руки, опухаю. Долго ли жить? Он, как я о М<арине>, думает, что я буду жива? Но и его может жизнь обмануть.

Я запросила адр<есный> стол Арх<ангель>ска и телегр<аммой> с оплаченным ответом нач<альни>ка ОК СУ об Андр<ее> – молчание. И куда ехать, если сразу грянет отъезд?

1. Лиля – Елизавета Яковлевна Эфрон (1885–1976) – сестра мужа Марины Цветаевой. Дружба с Лилей у А.И.Цветаевой началась в июне 1911 г. с влюбленности в героиню волошинских мистификаций «испанку Кончитту», которую изображала Лиля Эфрон (см. Цветаева А. Воспоминания. Изд. 3-е, доп. М.: Сов. писатель, 1983. С. 372–382.

В 1922–1937 гг. они жили в соседних домах в Мерзляковском переулке (Е.Я.Эфрон – в доме № 16, а А.И.Цветаева – в доме № 18).

В это время Е.Эфрон – «наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшая их художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог» (Чуковская Л. Предсмертие // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 534). Рассказывая о людях, помогавших ей после ареста (1937 г.), А.И.Цветаева в книге «Моя Сибирь» (гл. «Друзья мои») пишет:

«Лиля первая в их чередѣ, мне славших помощь уже 13 лет... Она старой уже, пенсионеркой, первая из всех отважилась на столь трудную помощь тогда, от себя отрывая последнее – крохи пенсии – мне на Дальний Восток... Она слала ... самое нужное для существования. Уже не имея сил зарабатывать, Лилия, живя на пенсию и болея, знала то, без чего нельзя жить, в этом ежедневно нуждаясь» (Цветаева А. Моя Сибирь. М., 1988. С. 132–133).

2. *Зина* – Зинаида Митрофановна Ширкевич (1895–1977), друг Е.Я.Эфрон. С 1929 г. жила вместе с нею в крошечной комнатке коммунальной квартиры. Елизавета Яковлевна с предвоенных времен была практически лежачей больной. Занятия с учениками она вела дома, полулежа. Работала она с утра до вечера. Ей нужно было зарабатывать уроками, чтобы посылать продукты и вещи близким: в лагерь племяннице Ариадне, Анастасии Ивановне, ее сыну Андрею; в ссылку сестре Вере Яковлевне и брату Зинаиды Митрофановны Михаилу Митрофановичу Ширкевичу; эвакуированной из блокадного Ленинграда старшей сестре Анне Яковлевне Трупчинской с внуком, а также осиротевшему Георгию Эфрону.

Посылки в Москве не принимали, и Зинаиде Митрофановне нужно было ехать пригородным поездом до Мытищ, а потом еще минут сорок на автобусе. У Зинаиды Митрофановны в результате перенесенного ею костного туберкулеза была сильно укорочена нога, и она ходила, опираясь на палку. Тем не менее три раза в месяц она совершала эти путешествия с шестнадцатью килограммами на спине. Не случайно уже к концу 1943 г. у нее началось резкое обострение туберкулезного процесса, и ее положили в больницу.

3. *Мур* – семейное прозвище сына М.Цветаевой Георгия Сергеевича Эфрона (1925–1944).

4. *Если не будет перемен в моей жизни...* – в лагере, где находилась А.И. Цветаева, проходили «активировки», т.е. досрочное освобождение из заключения инвалидов. И, будучи инвалидом, она рассчитывала, что ее «сактируют». Однако этого не случилось. А. Цветаева вышла на свободу только в 1947 г., отбыв весь лагерный срок.

5. *Учится Мур, работает, где живет...* – в письме от 11 апреля 1943 г. Л.И. Толстая выслала Г.С. Эфрону пропуск в Москву. Поздней осенью 1943 г. он был зачислен на первый курс Литературного института Союза писателей в Москве и поселился в комнатке, где жили Е.Я. Эфрон и З.М. Ширкевич в Мерзляковском переулке.

6. *Борис Александрович Садовский* (печатался под фамилией Садовской; 1881–1952) – поэт, прозаик, литературный критик.

Весной 1941 г. у него в Новодевичьем монастыре (он жил в одном из подвальных помещений) бывала М. Цветаева. Уезжая в эвакуацию, она оставила у Садовских часть своего архива, библиотеку и некоторые вещи.

О судьбе оставленного А. Эфрон пишет 25 августа 1945 г. А.И. Цветаевой: «...Все мамины вещи и вся ее библиотека, хранившаяся у Садовских, которых Вы знаете, были ими проданы после маминого отъезда из Москвы. Слава Богу, они, видимо, не успели продать рукописи. Муж, вернувшись из Куйбышева, с величайшим трудом буквально вырвал их у них. Он не мог мне сказать, все ли рукописи целы, так как не знает, что там было, и всё то, что ему удалось спасти, пока в сохранности» (Архив М.И. Цветаевой. РГАЛИ. Фонд № 1190).

7. Почему Вы не хотите сделать это? – впоследствии Анастасия Ивановна поняла, «что означали в ответ на мои первые требования о правде после Лёриного "нет на свете" – Лилины медлившие открытки ... все еще надеявшиеся от меня – скрыть» (см.: Цветаева А. Воспоминания. С. 714).

8. Хозяйка – речь идет об Анастасии Ивановне Бродельщиковой, хозяйке дома в Елабуге, где покончила с собой М. Цветаева.

9. День, когда я увижу Сережу... – А. Цветаевой было неизвестно даже то, что С.Я. Эфрон был арестован 10 октября 1939 г. А о том, что он был расстрелян 16 октября 1941 г., в это время не знали ни его сестры, ни его дочь.

10. ...через 10 месяцев мне будет уже 50 – А.И. Цветаева родилась 14/26 сентября 1894 г.

11. ...Вы так похожи на С<ережу> – как мы с М<ариной> – это сходство сестры с братом отмечает Анастасия Ивановна в отрывке, написанном ею по моей просьбе в последние годы ее жизни. Так как этот отрывок не был опубликован, привожу его полностью: «Я полюбила Лилю, ее горячность, искренность, способность восхищаться, ее ни с чем не сравнимый смех, огромность карих глаз и природную королевственность осанки и внезапное сдвигание бровей, вспльчивый гнев, негодование, когда что-то было грубо, пошло, неверно, не по ее стремительному духу. Она глядела на человека и испытывала его взглядом, познавала, проверяла, поглощала, ежеминутно соотносясь с его, ею наблюдаемым, чувством, с его поступком, в какой-то трепетной готовности оценить, отозваться, назвать, и себя ежемгновенно проверяя, так ли поняла, верно ли оценила – то ли произошло только что, что ей чудится, совпало ли, можно ли сейчас быть счастливой: вот этим – словом, случаем, размышлением? Счастье познания – оно и пылало в ее гневном и трепетном ожидании "чуда" от человека

(и этот трепет роднил ее с Сережей. В нем он был тот же)» (Архив Р.Б. Вальбе).

12. *Уезжая в 22<ом>...* – 11 мая 1922 г. М.И. Цветаева уехала к мужу в эмиграцию.

13. *Андрюша* – сын А.И. Цветаевой Андрей Борисович Трухачев (1912–1993).

14. *Пра* («Праматерь») – так называли близкие Елену Оттобальдовну Кириенко-Волошину (1850 – 1923) – мать М.А.Волошина, близкого друга сестер Цветаевых (см. «Живое о живом» М.Цветаевой и «Воспоминания» А.Цветаевой).

15. *Мерзляковский пер.* – Е.Я. Эфрон поселилась в доме № 16, кв. 27 по Мерзляковскому пер. в 1921 г., а А.И. Цветаева в том же году – в соседнем доме № 18, кв. 8.

16. ...через 5 1/2 лет она мне подарила утро свидания... – летом 1927 г. А.М. Горький, получив письмо А.И. Цветаевой и оценив его как голос «человека-друга», пригласил ее приехать в Сорренто на виллу Сорито, где он жил в это время. Там А.И. Цветаева могла прожить 2 месяца (как научный работник, она имела право на такой отпуск). Марине она пообещала приехать в Париж на неделю с тем, чтобы вернуться к Горькому. Однако болезнь детей и самой Марины заставила ее задержаться.

17. *...неапольский день* – перед отъездом гостя Горький показывал ей Неаполь (см. об этом очерк «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной» в «Воспоминаниях» А.И. Цветаевой).

18. *...к обоим моим мужьям..* – первым мужем Анастасии Ивановны был Борис Сергеевич Трухачев (1892 – 1919), вторым – Маврикий Александрович Минц (1886–1917).

19. «...льет волшебный свет она» – А. Цветаева неточно цитирует строку из стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер». Правильно: «льет печальный свет она».

20. *Где ты Кай, там и я Кайя* – формула верности, которую произносила в Древнем Риме вступающая в брак.

21. *Артур Шницлер* (1862–1931) – австрийский драматург и прозаик. Его пьесы с большим успехом шли в 1900-е гг. в московских театрах. В 1916 г. Камерный театр поставил пантомиму «Покрывало Пьеретты», в которой участвовали Сергей и Вера Эфрон.

22. *Карин Михаэлис* (Микаэлис) (1872–1950) – датская писательница.

23. *Кнут Гамсун* (1859–1952) – норвежский писатель. В конце XIX – начале XX вв. его творчество завоевало широкую популярность в ряде стран, в том числе и в России. Не миновало это увлечение и молодых супругов Эфрон. Первым подарком Сергея Эфрона Марине после венчания был IV том

собрания сочинений Кнута Гамсуна.

24. Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) Гонкуры – французские писатели. Писали в соавторстве. Совместно они вели «Дневник», который после смерти Жюля продолжал Эдмон. В письме В.Н. Буниной от 24 августа 1933 г. М. Цветаева писала: «...Гонкуры, дневник которых я люблю, как свой, вернее чувствую – своим (т.е. ЖИВЫМ!), а романы которых сплошь построенные на видоизмененной правде, забываю тут же после прочтения...» (VII, 247).

25. ...брата, ставшего на могиле брата седым – ср. запись М. Цветаевой в 1920 г.: «...на похоронах младшего старший на глазах всего Парижа поседел. (Разница и физической породы, т.е. душа окончательно завладела телом)» (НЗК, II, 151).

26. Маугли, пантера, медведь, семья волков – персонажи «Книги джунглей» и «Второй книги джунглей» английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936).

27. «Лихтенштейн» – исторический роман о Германии XVI в. немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802–1827), одна из любимейших книг сестер Цветаевых в их детстве и отрочестве. В «Вечерний альбом» (1910) М. Цветаевой включено стихотворение «Как мы читали "Lichtenstein"». В 1911 г., перечитывая «Лихтенштейн», она пишет М. Волошину: «Представь себе, Макс, что я совсем не изменилась с 12-ти л<ет> по отношению к этой книге» (VI, 52). В 1926 г., отвечая на анкету, среди любимых книг, каждая из которых «дает эпоху», называет «Гауф-Лихтенштейн (отрочество)» (IV, 622).

28. Жан Поль (настоящее имя – Иоганн Фридрих Рихтер, 1763–1825) – немецкий писатель. Весной и летом 1911 г. М. Цветаева в письмах М.А. Волошину пишет: 6 апреля – «Читаю сейчас Jean Paul'a "Flegeljahre" [«Озорные годы»] – бесконечно очаровательную, грустно-насмешливую, неподдельно романтическую книгу» (VI, 44); 26 июля – «...в нем главное ... удивительная смесь иронии и сентиментальности. К тому же он ежеминутно насмеяется над читателем...» (VI, 50).

29. Томас Карлейль (Карлайл) (1795 – 1881) – английский критик, романист, философ и публицист. «Sartor Resartus, Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрека» – философский роман-памфлет. Перевод Н. Горбова на русский язык был опубликован в 1902 г. Об истории перевода Т. Карлейля А.И. Цветаева рассказала в очерке «Томас Карлейль в моей жизни. (Как я переводила Карлейля)» (Цветаева А. Неисчерпаемое. М., 1992. С. 208–213).

30. Аля – Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975) – дочь М.И. Цветаевой.

31. ...брошенных о ее смерти слов от невидевшего ее человека. – Речь идет о словах Валерии Ивановны Цветаевой (1883–1966): «Муси, автора "Волшебного фонаря", нет в живых» (письмо к А.И. Цветаевой от 20 июня 1943 г.). Валерия Ивановна не пожелала встретиться с М. Цветаевой после ее возвращения в СССР. Приводим запись об этом из дневника В.И. Цветаевой:

«1939 г. Москва. Мне телефонный звонок. Кто-то из Эфронов:

– Вы знаете, что Марина здесь? (Сразу охватывает что-то насильственное, трудное.)

– Хотите увидеть?

– Нет.

– Позвать к телефону? – Лучше не надо.

С той и с другой стороны трубки телефонов положены. И сразу, с маху, кончено». (Архив ГМИИ. Фонд 6. Тетрадь 5. Л. 6.)

Публикация и примечания Р.Б.Вальбе.

Подготовка текста Р.Б.Вальбе и Е.И.Лубянниковой